

Максим Горький

# Об избытке и недостатках



## Annotation

«Мы шагали просёлочной дорогой среди полей, раздетых осенью, нищенски разрезанных на мелкие кусочки; озорничал неприятный ветерок, толкая нас в затылки и спины, хлопотливо собирал серые облака, лепил из них сизоватую тучу, по рыжей щетине унылой земли метались тени, шевеля оголённые кусты, как будто желая спрятаться в них. Когда мы были в полуверсте от небольшой деревни, туча вдруг рассыпалась мелким, но густым и холодным дождём...»

---

- [Максим Горький](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

# Максим Горький

## Об избытке и недостатках

Мы шагали просёлочной дорогой среди полей, раздетых осенью, нищенски разрезанных на мелкие кусочки; озорничал неприятный ветерок, толкая нас в затылки и спины, хлопотливо собирал серые облака, лепил из них сизоватую тучу, по рыжей щетине унылой земли метались тени, шевеля оголённые кусты, как будто желая спрятаться в них. Когда мы были в полуверсте от небольшой деревни, туча вдруг рассыпалась мелким, но густым и холодным дождём.

– Бежим! – скомандовал мой спутник Григорий Иванович, длинный, тощий человек, с костлявым лицом угодника божьего; на его лице серой кожи, в морщинах глубоких глазниц и под кустиками седых бровей прятались маленькие, очень сердитые и докрасна воспалённые глаза. Он себя называл рядовым железнодорожного батальона, но гораздо больше был похож на дьячка, в общем же – «человек бывалый», битый, мятый, сильно огорчённый жизнью и приученный сердиться на все случаи. До деревни бежали мы во всю силу, но достигли её, конечно, мокрыми, точно утопленники. Попросились обсушиться в одну избу, которая посolidнее, в две, в пяток, но никуда не пустили на очень простом основании:

– Много вас, таких, шляется!

– Чтоб вам издохнуть, – пожелал домохозяевам Григорий Иванович.

А дождь буйствовал всё сильнее, мы прислонились под воротами большой избы с двором, покрытым тёсом, стоим, мокнем, и вдруг из дождя явился невысокий, коренастый мужчина, такой же сплошь облизанный дождём, как и мы.

– Вы чего тут жмётесь – весны ждёте? – спросил он весёлым голосом. Мне стало интересно, а вместе с тем и досадно, что в такую погоду человек шутит. В ответ на угрюмые слова солдата: «Никуда не пускают!» – он предложил:

– Айда ко мне!

Говорил он крикливо, как глухой, и весело, точно пьяный. Весёлость эта противоречила не только погоде, но и одежде мужика: на нём отрёпанный кафтан, одной полрой его он прикрывал голову, под кафтаном – ситцевая рубаха неуловимого цвета, из-под рубахи опускаются портки синей пестряди, ступни ног – босые; мне показалось, что дождь вымочил

его ещё более безжалостно, чем нас. Солдат спросил:

– А ты, хозяин, чего же гуляешь?

– В село ходил, к знахарке, недалеко, версты четыре, – охотно ответил он. – Девчоночка у меня чего-то занедужила. «Хозяин!» – усмешливо воскликнул он, сбросив полу кафтана с головы и обнаружив рыжеватые кочья, должно быть, очень жёстких волос, – даже дождь не мог причесать их. – Какой же я хозяин, драть те с хвоста? Хозяева в сапогах ходят.

Широкоплечий, длиннорукий, он, видимо, был силач, шагал по цепкой грязи легко, быстро и всё спрашивал: кто мы, откуда, куда?

– Вот к тебе идём, – ответил солдат сразу на десяток вопросов.

– Пожалуйста, милости прошу, я – гостям рад, – сказал весёлый мужичок тоном человека, которому есть где принять, есть чем покормить гостей, и этот его тон заставил солдата насмешливо спросить:

– Выпил маленько?

– Непьющий. Не оттого, что тятя-мама запретили, а – душа не принимает. Даже запахом водочки недоволен я...

– Весёлый ты, – угрюмо заметил солдат.

– Слезой горя не смоешь. Лезьте через плетень, ближе будет.

Перелезли через плетень, вышли огородом на берег речки, в сажень шириною, соскользнули по взмыленной дождём глине к избёнке в два окна, без двора, с будочкой отхожего места среди зарослей картофельной ботвы. В пазах избы наляпана глина, солома на крыше взьерошена ветрами, прикрыта хворостом, хребет крыши пригнулся, как бы под тяжестью кирпичной трубы.

«Особнячок не из пышных, – подумал я. – Внутри, должно быть, тесно и грязно».

Переступив порог двери, мы очутились в маленьких сенях, и сразу стало понятно, что это – предбанник. На лавке у окна сидела старуха в холщовой рубаше; широко расставив голые ноги, цвета сосновой коры, она расчёсывала редким деревянным гребнем космы седых волос; при входе нашем взмахнула головой, точно испуганная лошадь, руки её ушли на колени, и она плачевно, испуганно заныла:

– Господи, царица небесная, что уж это? Опять ты, Егорша, привёл кого-то...

Шлёпнув на пол мокрый кафтан, Егорша хозяйственно и ласково заговорил:

– Не страдай, мамаша, не беспокой себя, прихорашивайся, знай, – женихи появились! Ну, прохожие, вы сбросьте лишнее здесь, а то – намочите в избе...

– Ну куда ты их денешь? – ныла старуха.

– Найдём место. Входите, гости. Старухи – они только ворчать способные...

– Эк, паяц! – вздохнув и безнадёжно качая головой, сказала старуха, а я попросил у Егорши разрешения повесить мокрую одежонку нашу на чердаке.

– Валяй! – одобрил хозяин.

Влезли мы на чердак, там дождь сечёт крышу, ветер шелестит соломой и хворостом, посвистывает, нашёптывает что-то горестное.

– Правильно ведьма назвала его – паяц, – ворчит в сумраке солдат, развешивая одежду. – Да и жулик, должно быть. Жаль, чаю-сахару нет у нас, а то – самовар бы...

Сходя вниз, он предусмотрительно захватил с собой тяжёлую свою котомку. Внизу, в бане, было ещё более сумрачно, серые стёкла окна впускали в тесную комнатку неприятно тёплую муть тяжёлого запаха. Хозяин колыхался у стола, заправляя жестяную, маленькую лампу; посмотрев на гостей, он сказал:

– Один – вроде щуки, а другой похож на окуня. Ну, садитесь...

Из бани сделали жилую комнату очень просто: полук заменял полати, под полатами – нары и постель хозяев, на ней, в углу, уже совсем в темноте, кто-то шевелился. Печь приспособили для стряпни, подняв её под, а для житья на ней – сломали каменку. На шестке печи сидела кошка, нелюдимо сияли зелёные глаза, с полатей свешивалась и точно таяла в сумраке чья-то маленькая белая голова, в переднем углу, на лавке, под грудой тряпья дышало, тихонько всхрапывая, тоже что-то маленькое. Хозяин зажёл лампу, укрепил её на гвозде, вбитом в стену, помазанную мелом, скудный огонёк лампы осветил новенькие, ещё не затоптанные грязью жёлтые заплаты на прогнившем полу. При огне всё как-то странно сдвинулось, сомкнулось теснее, образовался какой-то скорбный уют и вызвал у меня сердитый вопрос:

«Это – жизнь?»

– Ну, как будем жить? – спросил хозяин, точно подслушав мои мысли, и весёлый его голос заставил меня подумать, что стеснённый человек этот играет на удалство.

– Хорошо бы теперь чайку хлебнуть, – продолжал он, – да самовара нету у нас.

– Чаю, сахару тоже нет, – спокойно, сочным голосом дополнили из-под полатей.

– Это хозяйка моя голос подаёт, – объяснил Егорша. – А картошки не

дашь, Палага?

– Картошек из-за дождя не успели нарыть.

– Так. Ну, – хлебца, соли дай. Хлеб да вода – богатырская еда.

– Тятя, – позвал с полатей тихий голосок.

– Эх вы, жители, – пренебрежительно сказал солдат.

– Не нравимся? – спросила хозяйка, выступая на свет и застёгивая кофту на груди. – Тогда – может, к другим пойдёте?

Вопросы её прозвучали не задорно, не обиженно, однако с явным чувством своего хозяйского достоинства. Я обозлился на солдата, а он, должно быть, испугался, что выгонят нас в дождь и в ночь. Он был скупой человек, но тут, смягчив свой деревянный голос, примирительно сказал:

– Ты, хозяйка, не беспокойся, еда у нас есть.

Нахмутив тёмные брови, женщина задумчиво посмотрела на солдата, на меня.

– Ну, вот и поешьте, – разрешила она равнодушно и, пройдя в передний угол, наклонилась там, разбирая тряпье. Была она небольшая, плотненькая, на круглом, красноватом лице под высоким и выпуклым лбом серьёзно светились овечьи глаза, широко расплывшиеся нос и толстые губы делали её лицо некрасивым, но было в нём – в глазах её – что-то приятное, заставившее подумать: «Не глупая». И в лице и в её фигуре заметно было нечто общее с мужем; Егорша тоже светлоглазый, курносый, скуластый, беззаботно курчавая борода не придавала его лицу особенного мужества. Стоя в углу, около печи, он говорил:

– Куда же ты, Яшук, сикаешь? Ты, брат, мимо лохани, не слышишь?

Белоголовый, тощенький мальчик слабо сказал что-то, но слов его не слышно было за словами отца.

– Вот, прохожие, у парня – глаза мокнут, вроде бы гниют. Не знаете средства против глаз? Мокнут и мокнут, – что ты будешь делать!

– В больницу вези, – посоветовал солдат.

– Вези нам – не на чем. Мы, брат, сами возим желающих, – говорил Егорша, помогая сыну влезть на полати. – В больницу я его водил даже три раза. Капали ему капли в глаза, промыванье дали – не помогло! Нет, не помогло, – повторил он и впервые тяжело вздохнул, наблюдая, как солдат вынимает из котомки половину буханки солдатского хлеба, куски пирога. – Нет, уж я так думаю: положено ему ослепнуть. Вот и девчоночка тоже – горячка у неё четвёртые сутки. Простудилась, хрипит... как она там, Палага?

Но, не дожидаясь ответа жены, он с радостным удивлением вскричал:

– Это – что же? Свинина?

- Ветчина, – поправил солдат.
- Богато живёте! Палага – гляди: ветчина.

Хозяйка, улыбаясь, подошла к столу:

- Кусище какой! Ба-атюшки...
- Каких же денег это стоит?

Солдат решил быть весёлым.

- Не куплено, крадено, – сказал он. Егорша не поверил.
- Будто – слямзил? Врё-ешь!
- Верное слово.

Толкнув жену в бок, Егорша захохотал, закачался, и обнаружилось, что сзади него стоит старуха, вытянув шею вперёд, выкатив глаза, челюсть у неё отвисла, обнажив тёмную, жадную дыру беззубого рта. Солдат великодушно пригласил хозяев поесть.

– За это – спасибо! – сказал Егорша. – Ты вот что, друг, ты отрежь кусок парнишке, ему польза будет. Мясо, брат, редкая пища...

Схватив кусок ветчины, он побежал к полатам, говоря на бегу:

- Пищу воровать – можно! Я, конечно, не верю, что вы – воры...
- Поверь, – настаивал солдат, а хозяйка спросила меня:
- И ты воруешь?

Раньше чем я успел ей ответить, ответил солдат:

– Он – нет! Он – грамотой испорчен, стесняется.

– Пищу можно воровать! – повторил Егорша, толкнув жену и Старуху, понуждая их сесть к столу. – Пищу и мышь и птица воруют. И даже таракан. Воровство – не баловство, я так понимаю.

– А ты ври больше на себя-то, – сказала жена, хмурясь. Егорша согласился с ней:

– Конечно, на себя врать – пользы нет! Ну, а всё-таки поговорочка звенит: «Хочешь есть, да – нечего, – в клеть лезь, хлеб у кого...»

- Нету поговорки такой, – сердито сказала старуха.
- А ты все знаешь?
- А и знаю!

Должно быть, желая прервать возможную ссору, солдат сказал:

- Ловко у тебя язык привешен!
- У меня – душа звонкая, оттого и язык бойкий, – ответил Егорша.
- Нуте-ка, кушайте, – предложил солдат.

И все замолчали. Солдат любил есть и ел много, но на этот раз кусок не шёл в горло ему, так же как и мне. Жутко было видеть, как жадно ест Егорша, и особенно страшно совала куски мяса старуха в чёрный беззубый рот: поднося кусок к лицу, она одновременно всем телом наклонялась к

нему, точно опасаясь, что кусок вырвут из пальцев её. Она всхлипывала, всхрапывала, и её тусклые глаза ревниво, из-под седых бровей, следили за быстрой рукой Егорши. Было видно, как ёрзает её кадык, образуя из кожи на шее нелепые, невиданные морщины. У меня её жадность возбуждала тошноту, и я заметил, что молодуха раза два уже толкала её локтем в бок. Сама она, Палага, ела не торопясь, аккуратно, пережёвывала пищу долго, и казалось, что это молчаливое насыщение тяготит её; от этого, а не от сытости краснеют её уши, щёки. Видимо, я догадался правильно, и Палага что-то заметила, сочный голос её вдруг покрыл громкое чавканье мужа и животный храп старухи.

– Он у меня сказочник, выдумщик. Иной раз найдёт на него – всю ночь, до утра балагурит. И даже бывает страшно слушать. Вдруг придумает, что разродятся тараканы.

– Угу, – сказал Егорша, кивнув головой.

– Разродятся так, что ни людям, ни кому другому живому места на земле нет уж, одни тараканы кишат, а боле – ничего!

Егорша перестал есть и совершенно уверенно сказал:

– А то – мыши! Против таракана – средств нету, а мышь – силоватей его, она таракана может кушать. Сами знаете: всё держится на силе.

– На глупости больше, – вставил солдат.

Егорша уже успел набить рот ветчиной и не мог ответить, а только помахал рукою в воздухе. Но проглотив жвачку, он немедленно и напористо снова заговорил:

– А глупость – не сила? Глупость, брат, тоже сила. Побори-ка её? У нас, в селе, учительша против глупости ратовала, так приехали ночью из города жандармы – хоп её! И – пожалуйста в Сибирь, в безлюдное место...

– Ты расскажи про неё, – предложила жена. – Он про неё так рассказывает, что даже до слёз доводит.

Вытирая рот подолом юбки, старуха сказала неожиданным басом:

– В бога она не верила, отца не уважала, вот ей и – каюк! Да ещё и на том свете...

Егорша, дурашливо крестясь, сказал:

– Господи – помилуй, хвостиком по рылу! – а Палага посоветовала старухе:

– Ну, покамест ты на том свете не побывала, так про него не рассказывай.

– Она, учительша, была необыкновенной храбрости, – говорил Егорша солдату. – А отец у неё – поп, бо-ольшой силы попище! Вот она беседует с ребятами, с девками, а он незаметно подкрался, да за волосы её, да по



щекам. Избил, а она встала с земли и говорит: «Понимаете, за что он, поп, отец мой, бил меня? За то, что я вам правду говорила. Не верьте, кричит, попам!» Тут он её – ещё! Да ещё...

– А как надо? – спросила старуха и сама же ответила: – Так и надо.

– Ты, мамонька, иди-ко спать, – сказала дочь, не сердито, но внушительно.

– Успею, – откликнулась старуха, она уже насытилась, её дёргала икота, но она всё ещё вкладывала в рот неверной, как бы пьяной рукой, кусочки пирога, отщипывая их пальцами, формы и цвета кореньев хрена.

– Гляди, вот до чего старики голодные, – сказал мне Егорша. – Им, ядри их чёрт, всё равно, что делается...

– А ты чёрного-то к ночи не поминал бы, паяц с ярмарки...

– Перестань, мать...

– Ему скажи, чтоб перестал, да, ему! – заговорила старуха басом и так глухо, точно в горле её кусок застрял. – Видали вы убогого такого, люди добрые? «Хочу, говорит, честным жить», а живёт со всеми зуб за зуб, никому – ни богатому, ни умному – не покоряется. То ему рёбра мнут, то – в тюрьму сажают. На улицу стыдно выйти из-за него, – рычала старуха всё гуще и озлобленнее; дочь её, сметая крошки со стола, хмурилась, Егорша, вытирая ладони о портки на коленях, посмеивался, подмигивал нам и этим довёл тещу до того, что она, застучав по столу сухими кулаками, накинулась на него:

– Ежели во святы угодники метишь – не женись, рыжий бес, не мучай бабу зря...

– Ну, где же зря? – возразил Егорша, подмигивая. – Она, гляди, пятерых родила.

– Плюнуть тебе в хайло, – заревела старуха, – дочь взяла её под мышки, легко подняла и понесла к двери, говоря:

– Иди, иди, мамонька! Покушала, ну – отдохни...

Старуха, болтая ногами, держалась за живот и рычала, плевала на пол.

– Хорошо живёшь с женой-то? – спросил солдат.

Егорша ответил с жаром:

– Жена, брат, это... это, я тебе скажу, вся награда жизни моей! Ей-богу! Не будь её – забили бы меня, как гвоздь в стенку. А её даже злодеи мои уважают – умница, работница, песни поёт лучше городской актрисы...

Я спросил Егоршу, почему он в тюрьме сидел.

– Сажают! – очень правильно ответил он. – Вот последний раз земскому чего-то не так сказал, он меня и запрятал на целые три месяца. У нас тут дворянство кругом, господа – строгие, то есть требуют обращения,

а в людях понимают меньше, чем в лошадях али собаках. Я прошлой осенью конюхом был у Лодыгина, а земский зятем ему приходится, ну и служит тестю, как тот пожелает. А до этого пруд чистил у купца Баюнова, громаднейший купец, морда красная сковородой, бороду бреет. Жулик такой, что хоть в цирке показывай. И всё на копейки считает: «За границей, говорит, весь счёт на часы да копейки и всякая работа идёт по шесть копеек в час, что ни делай, хошь нужник, хошь церкву». Он, сукин сын, хлопотал, чтоб меня окружным судом судили.

Я осведомился, за что. Егорша, сморщив лицо, почёсывая шею, усмехнулся:

– Так, пустяковина. Будто бы я его, быка такого, убить хотел, будто – покушение сделал. А я просто лопатой...

– По башке? – спросил солдат, поглядывая на Егоршу очень дружелюбно, с явным удовольствием.

– Нет... по плечу, что ли. Да ведь это так... просто: я замахнулся, а он подвернулся, – скучно вато объяснил Егорша.

Вошла Палага, села на скамью возле девочки и оттуда сказала:

– Ты про бабушку Степаниду расскажи.

– Да, вот это случай свежий, – подхватил Егорша, снова оживляясь. – В страдную пору тут бобылка померла на жнивье, надорвалась и – в землю носом! Мужики покойников уважают, а тут, сами знаете, хоронить – не время, да и некому – бобылка. Работала она у Костюхина – есть такой деляга, живоглот. Уговаривают его: на твоей полосе померла – тебе и хоронить. Ну, у него свои резоны: не у меня она силу потеряла, а у всех, кто её нанимал. Затеялся спор. Лежит старуха на меже, раздуло её горой, сутки лежит и другие, вонь пошла от неё, ну и слухи тоже: умерла, а – почему? Неизвестно. Того гляди, полиция вступится, и тут уж – раскошеливайся! Костюхин настоял: хоронить вскладчину и первый внёс рубль шесть гривен – заработок её. Ну, сколотили кое-как четыре с двугривенным, я взялся гроб сделать, – я свои деньги у богатого в кармане держу! – усмехнулся он, подмигнув солдату. Рассказывал он очень живо, в светлых глазах его блестели острые улыбочки, обветренная кожа скуластого лица смешливо морщилась, и беззаботная бородка как будто росла.

– Ну, ладно! Пошли к попу, а он и говорит: «Кто вас знает, отчего она померла? Тут требуется полиция. Но, жалеючи вас, между прочим, отпою за десятку». Туда-сюда – не уступает! А тут ещё с гробом ошибся я – покамест работал, старуху-то ещё боле разнесло. Ну, как же быть? Заплатили попу десяточку, а покойницу на погост повезли так: она – на телеге вдоль, а гроб в ногах у неё поперёк. А в могилу положили сперва её,

а гроб поставили сверху, иначе – не выходило! Вот какие похороны бывают...

– Случай-то хоть и свежий, а – невесёлый, – хмуро сказал солдат, а Палага тихонько выговорила:

– Пойдёте дальше – расскажете, как люди живут...

– Н-да, живём – туго. И даже надеяться не на что, и ждать нечего. Живёшь? Ну, и привыкай. Мне вот скоро четыре десятка минет, а работать я начал с восьми лет, и на работу – охочий, не лентяй, нет! Однако сами видите, лишнего – не выработал.

– Зато душа хорошая, – сказала Палага.

– Душа не корова – молока не даёт, – откликнулся муж. – Не-ет, своим горбом лишнего не наживёшь, лошадёнку надобно, хоть – махонькую, хоть на двух ногах, вроде меня. Обязательно, друзья, для добычи лишков требуется скотина да наш брат – бездомный батрачок. Кабы мастерство знать, да в деревенском быту какому мастерству научишься? К тому же и мастеровой живёт в чужих оглоблях.

– Да, стеснительно живём, – сказал солдат, кивая лысоватым черепом.

– Простору – много, а деваться – некуда! Я ли не странствовал? Родился в Вологодской губернии, а – вот куда занесло. И везде – как на ниточке висишь. В одном повезло: жену хорошую случайно нашёл. Как-то, под вечер, иду около Симбирска, рассчитался с заводилка суконного, гляжу: около дороги – телега, у телеги – баба, воет, тут же и другая на пенёк присела. Подошёл: что случилось? Оказывается – переселенцы, в Сибирь поехали, а мужик по дороге запил, пропил всё домашнее барахло, а теперь вот выпряг лошадь и пошёл её пропивать. От своих вторые сутки отстали, догнать не на чем, да и незачем, ну что делать? Вот так и нашёл я жену с тещей...

Странно и глубоко печально было слушать его: он и о своей неудачной жизни говорил всё так же усмешливо, играючи, не чувствовалось в словах его ни уныния, ни озлобления на судьбу, никакой горечи, звучала только привычно весёленькая и уже навсегда вкрепившаяся безнадежность; её-то, вначале, я и понял как игру на удальство. Подумалось: «Весело скрипит, а под корень сломлен».

Солдат слушал его, сидя прямо, как деревянный, молча прикрыв сердитые глаза, шевеля пальцами рук, положенных на стол, точно играя на невидимых и неслышных гусях.

– Вот прикрепились здесь, – продолжал Егорша. – Село этим летом наполовину выгорело, ну кое-какая работёнка есть. А деревня эта опасная, тут, считай, почти в каждой избе носовая болезнь, сифилис действует,

гундосят все...

– Ну, уж – все! – поправила его жена. – Что зря порочишь!

– А кого я порочу? Тут, года четыре назад, какое-то войско стояло по случаю бунта, что ли, так солдаты всех баб, девок перепортили.

– Ой, что ты! Есть здоровые...

– Ты доктор? А мне доктор говорил, Пётр Васильев. «Береги, говорит, детей...» Никого я не порочу. И солдат тоже. Солдаты за себя не отвечают, они на присяге, как на коне, куда конь скачет, там люди и плачут.

– Любишь ты поговорки, – угрюмо сказал солдат.

– Одна утеха, – ответил Егорша, – ничего не осталось, как шутки шутить. Нет ни земли, ни лошади – ни хрена! Одна жена, да тёща, да таракан во щи.

Вошла старуха с грудой тряпья в руках и зарычала:

– Будет уж языки чесать! В сенях – текёт, я тут спать лягу. Вы, прохожие, на чердак идите.

Бросив тряпье на пол, она продолжала:

– Ходют тут, всякие. А – чего ходют? Всё – спрашивают.

– А ты бы не ворчала, мама, – посоветовала дочь.

– Она без этого не живёт, – сказал Егорша. Ползая на коленях, расстилая тряпки по полу, старуха пригрозила:

– Вот они придут в город, скажут: в деревне Синюхиной мужик живёт языкатый, отрезать бы ему язык-от...

Егорша проводил нас в предбанник.

– Уж вы как-нибудь там устроитесь... Сенца бы туда, да скота не имеем, а для себя сена не держим, – не научились сеном-то питаться...

– Неглупый мужик, – пробормотал солдат, устраиваясь около трубы. – Неглуп. А – лишний. Эх, чёрт вас...

Он матерно выругался и замолчал. По соломе крыши неустанно и назойливо барабанил дождь. Тихий его шорох упрямо заставлял вспоминать речи Егорши. Крупная капля метко попала мне в глаз. Минут через пяток внизу, в предбаннике, послышался приглушённый голос Палаги:

– Посидим здесь, пока она уснёт.

– Ух, ядовита старушка, – тяжело вздохнул Егорша. Помолчали. Потом снова заговорила жена тихонько, но внятно.

– Нехорошо как вышло...

– Что?

– Зашли к нам бедные люди, а мы их – объели.

– Ну, ничего! Нас – тоже объедают. Они и украсть не побоятся и

милостыню попросить не постыдятся. А нам с тобой – не красть, не просить...

И вдруг скрипнула дверь, раздался густой и как бы торжествующий шёпот старухи:

– Вот ругаете меня, а я, покуда вы ели, куски-то со стола всё в подол, всё в подол...

– Да иди ты – спи! – почти крикнула Палага, а Егорша проворчал:

– Экое наказание...

– Ду-ураки! Глядите сколько! Когда ты меня, дура, потащила – испугалась я: ох, уроню куски...

Сильно хлопнула дверь, стало тихо. И даже дождь как будто обессилел. Солдат снова крепко выругался.

– Ты что? – спросил я.

– Капает на меня. Изба, мать вашу... Избавили мужика... от всякого смыслу, трещит, как скворец...

Минуту он возился молча, переползая на другое место, потом зарычал, как старуха:

– Слова придумывают: изба – избыток. Сволочи. Лексей – слышишь? Избыток, а? Старуха-то? Куски прятала... слышал? Избыток... Давить надо сукиных детей, мать...

– Ты кого ругаешь?

– Кого надо. Мужик-то – как про нас... Не дурак мужик. И хорошо, что не богат. А – будь богат, тоже сволочью был бы. Избыток, растак вашу... – Ворчал он долго, ещё раза два ползал в пыли чердака, меняя место, на него, должно быть, везде капало. Капало и на меня, но я уж притерпелся. Потом солдат как-то вдруг захрапел, засвистел носом. Через некоторое время, сквозь дремоту, я снова услышал голос Егорши:

– Ну, не плачь! Что поделаешь? Конечно, лучше бы мать умерла – легче было бы нам...

– Ты подумай! Ведь третий ребёнок...

– А чем бы кормили, будь они живы? По миру посылать?

– А Яша слепнет...

– Самим бы не ослепнуть, – сказал Егорша.

Беседовали они долго, и под шелест их голосов я уснул. Солдат разбудил меня на заре. Дождь иссяк, и мы ушли тихонько, как бы опасаясь разбудить хозяев.

Давно это было. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь хотелось написать о невесёлой жизни весёлого Егорши и милой жены его. А теперь

вспомнилось и написалось потому, что на днях был у меня приятель, один из тех замечательных наших партийцев, которые зорко наблюдают за строительством новой жизни в деревне и отлично умеют возбуждать в крестьянстве сознание необходимости двигать жизнь по широкому пути к социалистической культуре. Приятель мой начальствует над целым краем и, объезжая его по службе революции на аэросанях, остановился в одном большом селе. День был выходной и солнечный, весёлый, время послеобеденное, но на улице ещё пусто. Аэросани остановились на площади у церкви, шофёр стал осматривать, всё ли в порядке. Первыми из ворот посыпались, конечно, ребяташки, за ними поползли старухи, деловой народ заседал в сельсовете. Одна старушка, подойдя вплоть к саням, удивляется:

– Ба-атюшки мои, чего состроили! Так само собой и бегают?

Приятель мой видит: хотя и старуха, а – из бойких, глазенки у неё живые, умненькие. Сам он тоже человек очень бойкий; шутливый и в знакомстве с деревенским людом наметанный. Объясняет старушке:

– Да вот, бегают! Конечно, не без нечистой силы, черти двигают, хотя их не видно, а они – тут.

Но старушка шутку понимает:

– Чертей-то, говорят, нету.

– А были?

– Не видывала. А ты, товарищ, над нами не смейся, мы понимаем – электричество действует. Эх, вот бы на эдаком покататься, покуда второе-то пришествие не настигло!

Приятель спросил, будто испугавшись:

– А оно будет, второе-то?

– Бают – будет.

– А кто придёт?

Старушка отвечает:

– Как нам, тёмным, знать? Наверно – вроде тебя, какой-нибудь эдакой.

Публика смеётся, а старушка, любуясь своей бойкостью, балагурит:

– Прокатиться бы разок да рассказать на том свете, какие у нас предметы делать научились.

– Ну, – говорит приятель, – ежели у тебя такая задача – садись, едем!

– Одна? Ты бы и соседок пригласил.

Натискал товарищ в сани пяток старух, повёз их в поле, гонит во всю силу, смеются старухи, повизгивают, как девушки, – довольны. Возвратился в село, а на площади уже сотни две народа, молодёжь издевается:

– Что, не пригодилось старьё, назад привёз?

– Почём с головы за провоз берёшь?

А один парень, будучи немножко под хмельком, ревниво и задорно спросил:

– На старухах колхоз строить хочешь?

В этом месте приятель сказал мне:

– Гляжу я на людей, слушаю смешки и думаю: должность моя вроде губернаторской, по старой мерке. А ведь в старину с губернатором этак-то и во сне не говорили, как со мной говорят. Думаю, и в душе солнце светит. Агитнули глубоко!

Подошёл ко мне солидный бородач, спрашивает:

– Куплена машина-то, или сами построили?

– Сами.

– В Горьком, значит [\[1\]](#). Так я и думал, а спросил для проверки. Вот видите, граждане, сами рабочие строят. Это надобно оценить. А стариков покатаь можешь, товарищ?

Приятель мой покатаь и стариков, а когда вернулись на площадь, бородач заявил, обращаясь к односельчанам:

– Он, граждане, товарищ этот, хорошо сделал, что вот показал нам, куда рублишки наши идут. А то мы здесь, в глуши, читаем, слышим – строят! А что строят – не видим. Поэтому я, в знак радости, приношу на заём двадцать пять рублей, – кто ещё желает?

И неожиданно «в знак радости» мужики собрали сто сорок целковых, так что шофёр даже предложил:

– Не поехать ли нам, товарищ Матвей, по краю народ катать? Большую помощь Автодору окажем.

Молодёжь празднично галдит, смеётся, а бородач всё настойчивее щеголяет своей гражданской сознательностью, внушая кому-то:

– При советской власти жизнь стала убедительная, она теперь и стариков переучивает.

– Переучишь вас, чертей болотных, – кричат ему из толпы.

Разгорается «спор двух поколений»; какой-то аккуратно одетый старец задорно говорит:

– Мы, старики-то, быстрее молокососов учимся, потому – сами много знаем...

– Не столько знаете, как воняете.

– Вредоносные вы...

– Не все! Знай правду – не все!..

– Забились в старину, как гвозди в стенку...

– Без клещей – не выдерешь.

– Выдирают...

Но большинство граждан, окружив аэросани, похлопывают и гладят машину ладонями, точно лошадь, и кто-то сообщает:

– Теперь и гражданин крестьянин в инженеры пройти может.

– Ну, а как же?

– Наша власть способствует...

Снова появился пьяненький парень и – задорится:

– А вот я, товарищ, пропиваю деньги! Заработал и – прогуливаю! Я гулять люблю...

– Озорничать, – подсказали из толпы.

– Правильно, – согласился парень. – Озорничать я – прилежный.

– А работать?

– И работать. У меня, товарищ, такие трудодни – ух! Могу с круга спиться...

Его уговаривают:

– Не дури. Не показывай себя глупее, чем ты есть.

– Я глупый? – кричит парень, явно намереваясь разыграть скандалчик, но его сжимают и оттирают прочь широкие плечи «граждан крестьян». Слышно, как он орёт:

– А может, я со скуки глуп?

На его месте становится другой, тоже рослый мужик и тоже немножко под хмельком. Одет солидно, в городском хорошем пальто, в чёсанных сапогах, новенькая меховая шапка сдвинута на затылок, обнажая широкий лоб; лицо – сухое, остроносое, голубоватые глаза серьёзно прихмурены, подбородок бритый, рыжеватые, лихо закрученные усы придают лицу выражение решительное, и сразу видно, что человек этот цену себе знает.

– Это вы, товарищ, значит, культуру показываете нам? Успехи механики в деле индустриализации? Очень хорошо. Вроде как приехали к дикарям и желаете, чтобы удивлялись?

Приятель мой спросил его: кто он?

– Тут меня знают, – не без гордости ответил он, а тот час же из толпы крикнули:

– Это наш!

– Потомственный здешний батрак.

– Он у нас – поучительный.

– А кто отец мой? – спросил крестьянин, обращаясь к толпе, и получил ответ:

– Отца у него в пятом году убили...

– Тоже батрачок был.



- На десятине сидел сам-пят.
- Стойте! – сказал парень, подняв руку. – Убивают и зря, а тут, надо прямо сказать: убили за приверженность к правде революции. Верно?
- Верно, верно!
- То-то! И опять же: кто убил?
- Износковы.
- Тут у нас такие живоглоты были. Износковы.
- Мироеды.
- Теперь – ясно, товарищ? И предлагаю вам пожаловать ко мне.

По настроению парня, по отношению односельчан к «потомственному батраку» приятелю моему показалось, что его хотят как будто немножко «разыграть» или устроить длительный словесный бой с этим типом. А уже поздновато было, догорала вечерняя заря.

– Пожалуйте, – настаивает парень, раздвигая толпу рукою. – Прошу и граждан, которые желают. Как вы руководите культурой, товарищ, то вам будет интересно.

- Ненадолго, – предупредил товарищ.
- Не задержим, – ответил мужик. – Дельце не крупное и простое.

Пошли. Привёл он к новенькой в три окна избе, с крытым крыльцом на резных колонках, обил в сенях валенки от снега, гостеприимно и молча открыл дверь в избу, освещённую лампой, спускавшейся с потолка. Потолок и стены оштукатурены, выбелены, пол окрашен, на полу, в переднем углу – широкий матрац, застланный простынёй, из-под одеяла, на подушки, высунулись три головы, на одной ещё блестят глаза, две другие утонули в крепком сне. На деревянной кровати, хорошей столярной работы, сидит молодая женщина, кормит ребёнка, она, видимо, не очень довольна гостями и строго приказывает:

- Закрывайте дверь, а то дети простудятся.

В переднем углу небольшая полка книг, над ней портреты Ленина, Сталина; около печи, у стены, новенький, зелёный шкаф с посудой, рядом с ним, на столике, блестит самовар. Вслед за хозяином пошло в избу человек десять, они встали у двери, а он прошёл вперёд, к обеденному столу и, предложив товарищу стул, сказал:

– Вот посмотрите, как советский крестьянин-колхозник примеряется жить. Конечно, можно бы обоями оклеиться, однако, во избежание тараканов, обои отрицаю. Так что кое-какую заботу о культуре имеем, в меру возможности. Тоже и понимать в существовании жизни начинаем кое-что. – Говорил он хвастливо, но в то же время как бы спрашивая глазами: так ли всё это? Сухое, суровое лицо его стало мягче. Приятель спросил:

– Партиец?

– Это – впереди. Покамест – советский колхозный гражданин. Трудодней у меня порядочно вышло, получил по шесть кило, кроме всего прочего, на лесозаготовках прирабатываю. Есть корова. Купил жене пальто за тридцать пять червонцев, – могу показать.

– Не надо, – сказала жена, укладывая ребёнка в кроватку, рядом со своей.

– А ты бы, вместо пальто, корову другую купил, на твою семью одной мало, – посоветовал товарищ.

– Вот видишь? – обрадовалась жена. – Я тебе тоже говорила!

– Значит – ещё корову надо купить? Так, – неопределённо сказал хозяин.

– Дети у тебя на полу спят, это им нездорово.

– Кровать надо? Понимаем. А где её поставить?

– Пришей к избе ещё комнату.

– Ещё-о? – насмешливо протянул хозяин, – какой ты добрый!

И, прищурясь, он спросил:

– Ты, что ж, в кулаки загоняешь меня? Тебе – какая власть дана: дело делать али шутки шутить?

– Шутить с тобой я буду после того, как ты вторую корову купишь, да комнату пристроишь, да и вообще начнёшь образцово жить в пример другим. Получишь ты за это премию, вот тогда мы с тобой и пошутим, – сказал ему товарищ.

– Слышите, как власть наша говорит? – обратился хозяин к людям. Они слушали молча, изредка покашливая, перешёптываясь, количество их незаметно возрастало, они, плотной массой, занимали уже почти половину комнаты, и от их дыхания огонь лампы потускнел, в избе становилось сумрачно. Пристально глядя на товарища, хозяин продолжал:

– Работать, конечно, следует без расчёта на премии, ведь премии-то мы вроде как сами себе выдаём. К тому же я здесь не один таков, есть не хуже меня, а получше.

Приятель мой спросил: сколько времени грудному ребёнку? Оказалось: две недели. Тогда приятель поставил ещё вопрос:

– А ты, поди-ко, уже спишь с женой-то?

– Ну, а как же? На то и жена.

Даже в сумраке видно было, что жена густо покраснела, а женщины зашептались слышнее, раздались смешки, вздохи. Тут приятель произнёс маленькую речь о необходимости беречь женщин после родов и ещё раз сказал о пользе второй комнаты, где жёны в последние месяцы

беременности и некоторое время спустя после родов могли бы спать отдельно от мужей. В ответ на эту речь раздался одобрителный гул бабьих голосов:

– Верно, товарищ!

– Вот – спасибо, что сказал!

– Уж это – так надобно нам, бабам...

Высунулась бойкая старушка, которая обещала рассказать на том свете про аэросани, – высунулась и торжественно заявила:

– Вот она, тётки, наша-то власть – видали? Молодой, а – какие дела понимает! А бывало, становой пристав али урядник...

Речь её прервал густой мужской голос:

– Насчёт второй горницы – правильно! От нашей тесноты ребятишки страдают, приходится им раньше время понимать чего не надо...

Хозяин утвердительно кивнул головой:

– Это-так! Признаюсь за всех: на одной постеле – не воздержишься. И про детей – верно. Эх, дела-то сколько!

– Радио у вас нет, – заметил товарищ. Хозяин нахмурился:

– Радио нет! – подтвердил он. – Оно, радио-то, элементов требует, а за элементом надо в город ехать, почти сотню километров. Радио нам – не присягает.

И, повысив голос, он начал говорить строго:

– Ты вот слышал, как пьяный человек кричал, что он – от скуки глуп? Это он крикнул из души. Жить нам скушновато, особенно тем, которые города понюхали, в Красной Армии служили. И деньжонки есть, и зарабатывать их приятно стало, а как откачнёшься от работы, примерно, в выходной день; так, знаешь, и... некуда себя ткнуть. Нас тут около трёхсот домов, а собраться негде.

Товарищ напомнил о церкви.

– Думали про церковь, – сказал хозяин. – Мала, стара, тёмная, скуку в ней, может, сто лет копили. Нет, церква нам не играет. Конечно, и её можно в пользу обратить, а думаем, что лучше бы нам новенький домик взогнать для собраний.

– Клуб называется, – сказал кто-то из толпы.

– Клуб не клуб, а дело нужное. Молодёжь у нас в школе спектакли ставит по «Театру в деревне», школа от этого, от возни в ней, много терпит, а удовольствия народу – маловато. И пьески – для глупых.

– Ну, что же? Старайтесь, это в вашей доброй воле, – сказал товарищ, а хозяин продолжал:

– Ежели всё пойдёт так, как пошло, – мы построимся. У нас тут свои

плотники найдутся, они могут сгרוхать домик, хоть в три этажа. А до той поры ты бы, товарищ, помог нам, достал бы небольшой, сил в двадцать, что ли, моторчик, тогда мы бы всё село осветили, да и радио завели, между прочим...

Эти слова особенно взволновали граждан, вперевод раздали крики:

– Керосину не хватает нам, товарищ!

– Лампочки зажечь надо...

– Вон как чуваша осветились!

– Тише, пожалуйста! – попросила хозяйка, – детей перепугаете.

– Ну да, испугаешь их!

– Чего наши дети боятся? – как будто сожалеет спросил кто-то.

Граждане действительно забыли и о чистоте крашеного пола, и о детях на матраце, они гуртом двинулись к столу, и бородатый мужик, «похожий на портрет писателя Короленко», убедительно говорил, заглушая всех:

– Нам, товарищ, надобно жить сообразно городу, как в нём налаживается. А то – что же будет? Одни – так, другие – эдак! Опять, значит, разрез народа надвое? Сам видишь, товарищ, недостаёт нам многого...

– Верно! Стесняют недостатки ход жизни нашей, – подтвердил потомственный батрак.

А пожилая высокая женщина жаловалась:

– Надобно, чтобы такие вот, как ты, дохожие до всего, приезжали к нам почаще.

– Слышал голос народа, товарищ? – спросил хозяин, усмехаясь, и по лицу его видно было, что он очень доволен беседой.

... Я записал этот рассказ о «недостатках» так, как слышал его из уст «до всего дохожего» товарища.

## Примечания

**1**

Город, существовавший в СССР с 1932 по 1991 г. на территории нынешней Нижегородской обл. Сейчас разрушен – *Ред.*